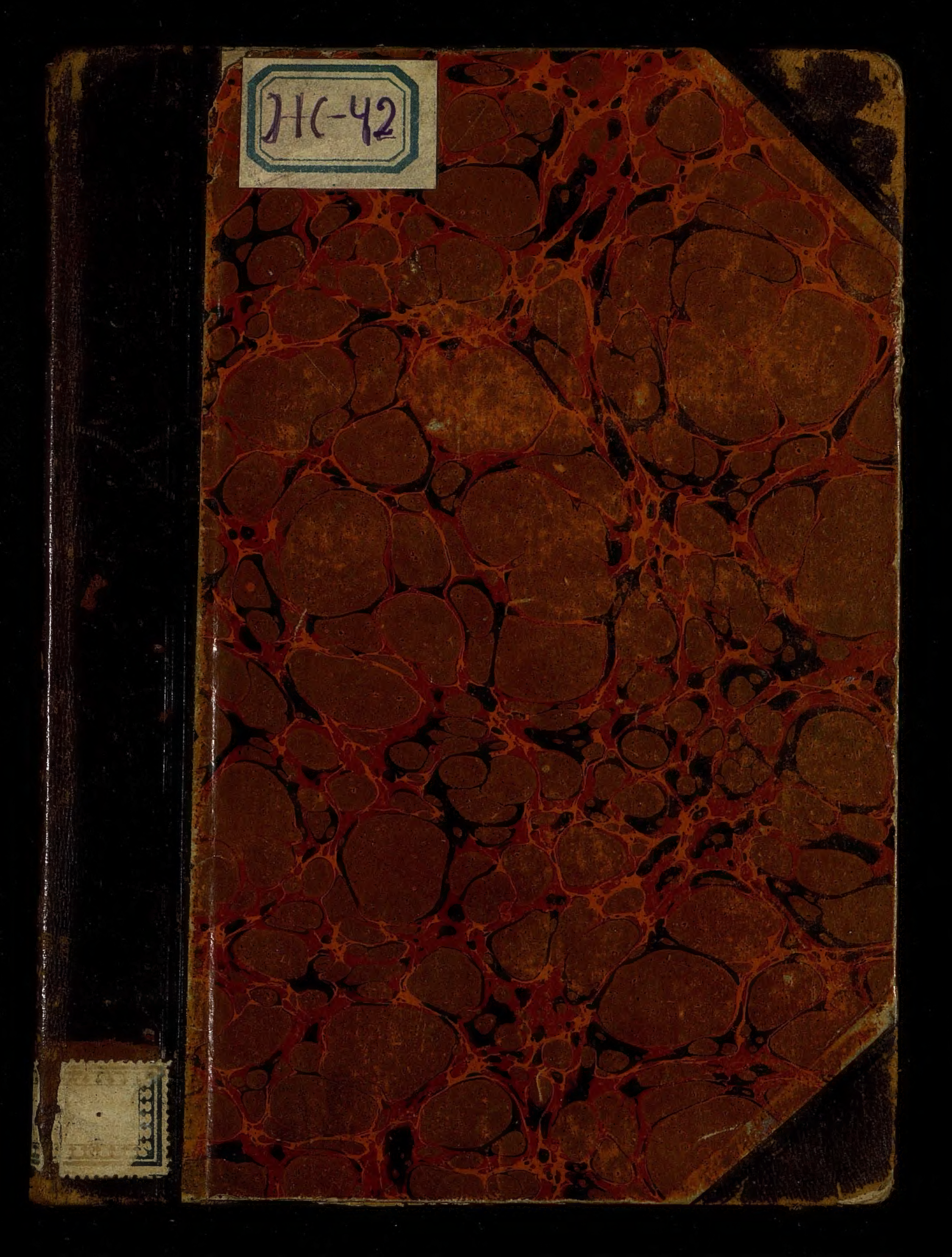

НС-42

ИВ. ЖДАНОВЪ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ

О ЗНАЧЕНІИ ПУШКИНА

въ

ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., 18—20.
1887.

Печатано по распоряженію Совѣта Императорскаго Александровскаго Лицея. Спб. 18 Марта 1887 г.

Нѣсколько словъ о значенiи Пушкина въ Исторiи русской литературы.

Рѣчь И. Н. Жданова.

. . . . Пробили
Часы урочные: поэтъ
Роняетъ молча пистолетъ,
На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ...

Печальная, но вѣрная картина! Да, эта картина не вымыслъ, не отрывокъ изъ романа; то—правда, быль, скорбная и страшная быль.

27-го января 1837 года на одной изъ глухихъ окраинъ Петербурга раздался выстрѣлъ. Широко разошелся гулъ этого выстрѣла и мучительной болью отозвался онъ въ сердцахъ всѣхъ, для кого генiй, поэзiя, благородная мысль, народная слава не были только «слова, слова, слова».

Вотъ что разсказываетъ Жуковскiй, бывшiй очевидцемъ послѣднихъ дней и кончины поэта: «съ утра 28-го числа, въ которое разнеслась по городу вѣсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освѣдомлялись о немъ черезъ посланныхъ; другiе—и люди всѣхъ состоянiй, знакомые и незнакомые—приходили сами. Трогательное чувство на-

ціональной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи».

Прошло два дня. 29-го января въ три четверти третьяго часа пополудни Пушкина не стало.

Потухъ огонь на алтарѣ...

Могучій стонъ вырвался изъ народной груди. Тоска разлилась по русской землѣ. «Горница, гдѣ онъ лежалъ во гробѣ, передаетъ тотъ же очевидецъ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно болѣе десяти тысячъ человѣкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали, иные долго останавливались и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ этой молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однозвучно слышалась посреди этого тихаго, смутнаго говора».

Оправдались при этомъ слова поэта:

Несчастье намъ учитель, а не врагъ,
Спасительно-суровый собесѣдникъ,
Безжалостный разитель бренныхъ благъ,
Великаго понятный проповѣдникъ.

Въ этой тысячной толпѣ, молчаливо тѣснившейся у гроба поэта, дѣйствительно открывалось что-то великое и торжественное, что-то притомъ неожиданное и небывалое. Впервые на Руси общественная скорбь о кончинѣ поэта выразилась съ такой величественной ясностью, впервые литературная утрата была оплакана, какъ національное горе. Ясно стало тогда, что наша литература поднялась до значенія важной общественной силы, ясно стало, что и общество узнало величіе этой силы, научилось цѣнить творческую мысль, какъ свое лучшее благо и какъ свою высшую славу.

Съ тѣхъ поръ прошло полвѣка. И снова встаетъ предъ

общими очами страдальческій образъ безвременно погибшаго поэта, снова повторяется его имя при общественной молитвѣ, снова справляется по немъ народная тризна.

Чувство, которое испытываемъ мы, участники этой поздней тризны, быть можетъ, менѣе болѣзненно, чѣмъ то, которое переживали современники поэта, но оно конечно такъ же искренне, глубоко и сильно.

Не берусь быть истолкователемъ такого чувства. Для этого у меня не стало бы ни времени, ни силъ. Я рѣшаюсь въ слабомъ и бѣгломъ наброскѣ намѣтить одну только сторону дѣятельности великаго поэта, сторону по которой, мнѣ кажется, всего яснѣе можно опредѣлить историко-литературное значеніе поэзіи Пушкина.

Поразительное и необычайное явленіе представляютъ первые шаги Пушкина въ литературѣ. Онъ выступалъ точно восходящій лучезарный богъ, вызывающій своимъ появленіемъ общую радость, единодушный сердечный привѣтъ. Никто не оспаривалъ его генія. Никто не сомнѣвался въ великомъ будущемъ, ожидающемъ юнаго поэта. Рядъ его первыхъ опытовъ—рядъ его первыхъ успѣховъ.

Жуковскій и Державинъ, пѣвецъ Людмилы и пѣвецъ Фелицы, авторъ балладъ и авторъ одъ, съ одинаковымъ интересомъ прислушивались къ пѣснямъ новаго пѣвца; представители двухъ литературвыхъ поколѣній мирно сходились въ привѣтствіяхъ и благословеніяхъ начинавшему поэту. Есть что-то трогательное и знаменательное въ этомъ союзѣ боровшихся противоположностей, союзѣ, скрѣпляемомъ рукою 16-ти лѣтняго поэта. Тутъ какъ будто разъ навсегда намѣчена была та высокая, примирительная, объединяющая роль, которой Пушкинъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь.

Пушкинъ—художникъ миротворецъ. Въ его поэтическихъ работахъ находили отзвукъ и примиреніе самыя разнообразныя, даже противоположныя движенія общественныхъ и литературныхъ идей. Онъ зналъ какую-то волшебную тайну, которая давала ему средство самые рѣжущіе диссонансы разрѣшать въ своеобразную художественную гармонію.

Позвольте мнѣ иллюстрировать это положеніе нѣсколькими примѣрами.

Время Александра I представляетъ важную и любопытную страницу въ исторіи нашего общественнаго самосознанія. Въ началѣ истекающаго столѣтія въ русскомъ обществѣ опредѣлились и вступили въ борьбу два направленія общественной мысли: «творческое» и «хранительное» по терминологіи Карамзина. Какъ разъ въ ту пору, когда Пушкинъ вступалъ въ жизнь, «творческое» движеніе, во главѣ котораго стоялъ самъ Императоръ, достигаетъ наиболѣе яркаго и опредѣленнаго выраженія. Въ 1818 году, когда только что вышедшій изъ Лицея Пушкинъ писалъ «Руслана и Людмилу», Императоръ Александръ произнесъ свою достопамятную рѣчь при открытіи Польскаго сейма, рѣчь, которая, по выраженію Карамзина, сильно отозвалась въ молодыхъ сердцахъ. Къ тому же 1818 году относится другая, тоже памятная рѣчь,—рѣчь Уварова въ собраніи Педагогическаго Института. Наконецъ, все въ томъ же 1818 г. Н. Тургеневъ напечаталъ свой «Опытъ теоріи налоговъ», а Куницынъ свое «Естественное право» и статьи по европейскому государственному праву.

Но не долго раздавались звуки этого дружнаго хора поклонниковъ творческаго духа. Полковникъ Скалозубъ уже обдумывалъ въ это время свою знаменитую фразу: «фельдфебеля въ Вольтеры дамъ», а Фамусовъ искалъ

только случая, чтобы открыто заявить: «Ученье—вотъ чума!» Пройдетъ какихъ-нибудь два года послѣ упомянутыхъ выше рѣчей, и голоса Фамусовыхъ и Скалозубовъ станутъ раздаваться все громче и громче, заглушая «и пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ, и гимны важные, внушенные богами».

Авторъ «Руслана» не остался безучастнымъ зрителемъ этой общественной борьбы. Онъ бросился въ схватку со всѣмъ увлеченіемъ молодости, со всей стремительностью своей пылкой природы. Само собой понятно, что ученикъ Куницына оказался подъ знаменами сторонниковъ прогресса. Удары Пушкина, падавшія на дѣятелей противоположнаго лагеря, были безпощадны. Пушкинъ выказалъ при этомъ много непозволительнаго задора, много юношескаго легкомыслія. Но не забудемъ однако, что въ вольнолюбивыхъ пѣсняхъ начинавшаго поэта слышались и серьезные, глубоко прочувствованные и живые мотивы. Назову для примѣра стихотвореніе «Деревня». Кто не помнитъ этихъ прекрасныхъ, полныхъ пророческаго смысла словъ:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенной
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря! *)

Мѣнялось время.—«Дней Александровыхъ прекрасное начало» отодвигалось все болѣе и болѣе въ даль. Иные люди выдвинулись впередъ и завели они иныя рѣчи... Пушкинъ остался при этомъ вѣренъ и благороднымъ чая-

*) Стихотвореніе «Деревня» заслужило Пушкину одобреніе Императора Александра I. «Faites remercier Pouchkine des bons sentiments que ses vers inspirent», сказалъ Государь кн. Васильчикову, который представилъ ему это стихотвореніе.

ніямъ своей юности, и своему примирительному, обобщающему призванію. Онъ отбросилъ отъ завѣтовъ молодости тотъ нѣсколько отвлеченный, космополитическій характеръ, который безспорно представлялъ ихъ слабую сторону. Оказавшійся недочетъ онъ покрылъ на счетъ сторонниковъ иныхъ воззрѣній. Онъ взялъ у нихъ то, чѣмъ они искренне или притворно хвалились, что выставляли на видъ, какъ заброшенную и реставрированную святыню. Гимны этой неоспоримой святынѣ Пушкинъ слилъ съ вольнолюбивыми мотивами своихъ юныхъ дней и создалъ изъ этой смѣси какую-то своеобразную и характерную гармонію. Вотъ почему авторъ, написавшій въ 1831 г. «Бородинскую годовщину» и «Клеветникамъ Россіи», былъ правъ, когда писалъ о себѣ въ 1836 году:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Вернемся опять къ годамъ юности нашего поэта. Въ то время въ кругу чисто-литературныхъ отношеній шла такая же ожесточенная борьба, какъ и въ области общественныхъ идей. Боролись сторонники стараго и новаго слога, Карамзинисты и «славяне», члены чопорной Бесѣды и шутливаго Арзамаса. На сторонѣ послѣднихъ были преимущества достаточно ясныя, если назовемъ имена Жуковскаго и Батюшкова. Но мы бы сильно ошиблись, если бы стали думать, что на противоположной сторонѣ не было важныхъ и несомнѣнныхъ достоинствъ. Въ дѣятельности Карамзинистовъ было два замѣтныхъ пробѣла: слабость народно-поэтической стихіи и отсутствіе драматическаго творчества. А эти два пункта были какъ разъ самыми сильными сторо-

нами у сторонниковъ другого лагеря. Въ ихъ рядахъ высилась внушительная фигура такого мощнаго представителя народнаго слова, какъ Крыловъ. Почтенный Шишковъ старался по мѣрѣ силъ распространять знакомство съ памятниками народнаго слова и народной поэзіи. Что могли противопоставить всему этому почитатели Карамзина? Ужели Бѣдную Лизу, или Ленору, перелицованную въ Людмилу? На сценѣ противники Карамзинскаго направленія господствовали безъ соперниковъ:

Тамъ Озеровъ невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій
Съ младой Семеновой дѣлилъ;
Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ
Корнеля геній величавый,
Тамъ вывелъ колкій Шаховской
Своихъ комедій шумный рой *).

И въ литературной борьбѣ молодой Пушкинъ не остался празднымъ зрителемъ. Назову его стихотворенія: «Желаніе» (1816 г.) «Къ Жуковскому» (1817 г.):

Но что? Подъ грозною парнасскою скалою
Какое зрѣлище открылось предо мною?
Въ ужасной темнотѣ пещерной глубины,
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сидятъ безсмыслицы дружины боевыя,
Далеко дикихъ лиръ несется рѣзкій вой;
Варяжскіе стихи визжитъ варяговъ строй...

Это писалъ членъ Арзамаса, бойкій «Сверчокъ». Но Пушкинъ скоро понялъ, что роль литературнаго сверчка, который долженъ знать только свой шестокъ, не по

*) Изъ кружка Шаховского вышелъ и Грибоѣдовъ.

немъ, что передъ нимъ стоятъ другія, болѣе серьезныя и широкія задачи. На первыхъ порахъ это выразилось въ томъ, что Пушкинъ сталъ искать сближенія съ лучшими дѣятелями противо-арзамасскаго лагеря. Въ 1818 году Пушкинъ завязываетъ дружеское знакомство съ Катенинымъ, а черезъ него знакомится и съ Шаховскимъ. Важно, что въ этихъ знакомствахъ первый шагъ сдѣланъ былъ Пушкинымъ. Біографъ поэта разсказываетъ: «Пушкинъ просто пришелъ въ 1818 году къ Катенину и, подавая ему свою трость, сказалъ: я пришелъ къ вамъ, какъ Діогенъ къ Антисѳену: побей, но выучи! — «Ученаго учить — портить», отвѣчалъ авторъ Ольги».

Въ сближеніи съ противниками Арзамаса Пушкинъ умѣлъ оцѣнить и усвоить себѣ тѣ именно сильныя и лучшія ихъ стороны, на которыя я уже указалъ.

Пушкинъ широко понималъ значеніе народности въ литературѣ. «Съ нѣкотораго времени, писалъ онъ въ 1825 году, у насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народности; но никто не думалъ опредѣлить, что разумѣетъ онъ подъ словомъ *народность*.

«Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи. Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, употребляютъ русскія выраженія. Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественниками: для другихъ оно или не существуетъ, или даже можетъ показаться порокомъ. Ученый нѣмецъ негодуетъ на учтивость героевъ Расина; французъ смѣется, видя въ Кальдеронѣ—Коріона, вызывающаго на дуэль своего

противника и проч. Все это однакожъ носитъ печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи».

Съ этими замѣчаніями нельзя не согласиться. Нужно только сдѣлать нѣкоторую оговорку. Выборъ предметовъ изъ отечественной исторіи не опредѣляетъ, конечно, «народности» писателя. Но умѣнье не только выбрать, а и съ художественной правдой обработать эти предметы можетъ, конечно, служить вѣрной пробой «народности» поэта. Поэзія Пушкина выдержала эту пробу. Онъ далъ намъ «Бориса Годунова», «Полтаву», «Капитанскую дочку». «Народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ»—признакъ самъ по себѣ конечно внѣшній, указывающій на форму, а не на существо дѣла. Но степень приближенія или отчужденія, симпатіи или антипатіи поэта къ памятникамъ народнаго слова, къ образамъ народнаго творчества, къ народной пѣснѣ и народной сказкѣ служатъ опять-таки вѣрнымъ показателемъ при испытаніи «народности» писателя. Пушкинъ выдержалъ и это испытаніе. Не буду называть его «Руслана и Людмилу», гдѣ народная поэзія является только какъ блѣдная тѣнь. Но кто станетъ отрицать вѣяніе народнаго творчества въ Пѣснѣ о вѣщемъ Олегѣ, въ стихотвореніяхъ: «Зимній вечеръ», «Утопленникъ», «Бѣсы», въ сказкахъ «о Царѣ Салтанѣ», «о Рыбакѣ и рыбкѣ»? Рядъ этихъ произведеній въ народно-поэтическомъ стилѣ увѣнчивается такимъ дивнымъ художественнымъ созданіемъ, какъ «Русалка». Припомнимъ еще труды поэта по собиранію памятниковъ народной поэзіи, припомнимъ, что и «Борисъ» и «Полтава»

полны народно-поэтическихъ вліяній. Такими произведеніями могли одинаково наслаждаться и люди, воспитавшіе свой вкусъ на балладахъ Жуковскаго, и поклонники «варяжскихъ стиховъ». Одно изъ литературныхъ противорѣчій было такимъ образомъ снято. Диссонансъ разрѣшился въ гармонію.

Въ современной Пушкину литературѣ велись оживленные споры о классицизмѣ и романтизмѣ, споры, въ которыхъ едва ли не самое видное мѣсто занималъ вопросъ о драмѣ, о драматическихъ формахъ. Припомнимъ, что въ области драмы сторонники литературныхъ традицій долгое время занимали господствующее положеніе. Что же Пушкинъ? Намъ извѣстенъ его взглядъ на драму, взглядъ, высказанный имъ съ той характеристической своеобразностью, которая называется наивностью генія. «Съ 1820 года, будучи удаленъ отъ московскихъ и петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахъ могъ наблюдать направленіе нашей словесности. Читая жаркіе споры о романтизмѣ, я вообразилъ, что и въ самомъ дѣлѣ намъ наскучили правильность и совершенство классической древности и блѣдные, однообразные списки ея подражателей; что утомленный вкусъ требуетъ иныхъ, сильнѣйшихъ ощущеній и ищетъ ихъ въ мутныхъ, но кипящихъ источникахъ нашей народной поэзіи. Мнѣ казалось однако довольно страннымъ, что младенческая словесность, ни въ какомъ родѣ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успѣла немногими опытами притупить вкусъ читающей публики; но, думалъ я, французская словесность, всѣмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая, вѣроятно причиною сего явленія. Искренно признаюсь, что я воспитанъ въ страхѣ почтеннѣйшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и слѣдовать духу

времени. Это первое признаніе ведетъ къ другому, болѣе важному: такъ и быть, каюсь, что я въ литературѣ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суевѣрно порабощать литературную совѣсть? Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Онъ долженъ владѣть своимъ предметомъ, несмотря на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владѣть языкомъ, несмотря на грамматическія оковы... Воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ея законы»...

Очевидно, точка зрѣнія Пушкина была такъ своеобразна, такъ широка и возвышенна, что для него исчезали, какъ несущественныя подробности, всѣ особенности древней и новой драмы, всѣ различія Шекспира и Корнеля. Въ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ оставался вѣренъ этой возвышенной, объединяющей точкѣ зрѣнія. Въ «Борисѣ» онъ представилъ опытъ народной драмы въ стилѣ Шекспировскихъ хроникъ, въ «Скупомъ Рыцарѣ», «Каменномъ гостѣ» онъ далъ образецъ драмы съ строго-выдержаннымъ единствомъ драматическаго мотива. И не знаешь, право, чему больше удивляться,—широкому ли размаху кисти въ Борисѣ, или сжатому и строгому стилю его драматическихъ сценъ.

Таковъ былъ Пушкинъ, такова была его высокая примиряющая роль въ нашей литературѣ. Онъ объединилъ въ художественной синтезѣ разнообразныя теченія современной ему общественной и поэтической мысли и этой синтезой очистилъ путь для дальнѣйшаго движенія

нашей литературы. Пушкинъ точно созданъ былъ для такой именно объединяющей роли. Всякая односторонность, всякая крайность и нетерпимость внушали отвращеніе его гармонически настроенной душѣ. «Самаго лучшаго состоянія нѣтъ на свѣтѣ, писалъ Пушкинъ Дельвигу, но разнообразіе спасительно для души!» «Ты отучилъ меня отъ односторонности, писалъ поэтъ Катенину, а односторонность есть пагуба мысли». Это отвращеніе отъ односторонности, это стремленіе къ разнообразію и помогли Пушкину стать тѣмъ, кѣмъ онъ сталъ—вождемъ новаго литературнаго движенія, хоригомъ всей новѣйшей русской литературы.

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды...
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды...

Ошибся великій поэтъ. Не напрасенъ былъ его великій трудъ, не прошло безслѣдно его «думъ высокое стремленье». Онъ самъ убѣдился въ этомъ. Онъ уже видѣлъ, какіе пышные всходы далъ его щедрый посѣвъ, онъ видѣлъ, какъ на встрѣчу ему шли новые, молодые таланты, единодушно и открыто называвшіе его своимъ наставникомъ и вождемъ. Руку Пушкина жали Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, другую онъ дружески протягивалъ Гоголю, Лермонтову, Кольцову, — союзъ талантовъ, въ которомъ примиряющее призваніе Пушкина нашло свое высшее выраженіе! Припомнимъ письмо Гоголя послѣ смерти Пушкина: «Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Мои свѣтлыя минуты въ моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь; мнѣ дорого было его вѣчное и не-

преложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?»... Припомнимъ еще стонъ, съ болью и проклятіемъ вырвавшійся изъ груди Лермонтова при вѣсти о кончинѣ Пушкина. Припомнимъ торжественный плачъ, пропѣтый надъ его могилой Кольцовымъ.

Шли годы. Уходили въ могилу и младшіе современники Пушкина, его ближайшіе ученики. Но не умирала благоговѣйная память о великомъ учителѣ, не забывались его поэтическіе уроки. Пушкинскіе завѣты, какъ родовая святыня, передавались однимъ поколѣніемъ другому. И теперь стоитъ передъ нами образъ Пушкина, окруженный такимъ же свѣтящимся нимбомъ, какъ и въ былые далекіе дни. И теперь передъ этимъ образомъ мирно сойдутся люди самыхъ несходныхъ настроеній и самыхъ противоположныхъ стремленій.

Поэтъ-пророкъ предвидѣлъ это:

«Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ—
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ».

И онъ не умеръ въ самомъ дѣлѣ. Не умеръ въ нашей литературѣ негодующій пророкъ, который призванъ

«Глаголомъ жечь сердца людей»,

не умеръ и добродушный разсказчикъ, передающій

Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.

Не умеръ художникъ русскаго слова, не умеръ народный пѣвецъ. Онъ живъ. Живъ великій поэтъ, потому что жива русская поэзія, жива русская мысль, живъ русскій геній.



